

Д 17
81313

НИКО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

В. В. СЯСОВ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ

Николай Николаевич Ге,

его жизнь, произведения и переписка.

(Ч. I)

СОСТАВИЛЪ

В. Стасовъ.

Съ 4-мя фототипіями.



МОСКВА

Типо-литография Т-ва Н. Н. Пучковъ в П. Пискаревск. ул., соб. домъ.

1904



Шереръ, Набоковъ Москва.

Н. Н. Те.

Передо мною несколько читателей. Я обращаюсь къ нимъ и спрашиваю: „Видали вы когда-нибудь, господа, рукописи покойнаго нашего Гё?“ Одни отвѣчаютъ: „Нѣтъ, не видали“. Другіе: „Видѣли“. — „Ну, значитъ, — говорю я пер-вымъ, — съ вами мнѣ нельзя и говорить про этотъ предметъ. Вы не видѣли, и сужденія никакого у васъ быть не можетъ. А вы, господа, тѣ, что видали рукописи Гё, позвольте мнѣ васъ спросить: что вы про нихъ скажете?“ — „Скажемъ то, — отвѣчаютъ они мнѣ, — что рукописи эти просто ужасъ! Такія неразборчивыя. Что называется, просто чортъ ногу сломить. Ничего не понимаешь. Надо большую привычку, надо огромное стараніе, чтобъ разобрать что-нибудь. А главное, надо, чтобъ былъ особенный какой-то большой интеллектъ у васъ, чтобъ не бояться никакихъ трудностей, чтобъ пожертвовать на это много времени, и глазами, и терпѣніемъ, чтобъ привыкнуть къ этимъ чертамъ и черточкамъ, къ этимъ каракулямъ, усикамъ, разводамъ и хвостикамъ, къ этимъ недопискамъ и перенескамъ, къ этимъ безчисленнымъ зачеркнутымъ, опять взятымъ назадъ, опять перечеркнутымъ и опять восстановленнымъ строкамъ, изъ которыхъ состоитъ текетъ“. — „Ну, и что же, скажите: игра не стоила свѣчъ?“ — „Стоила, стоила, — отвѣчаютъ одни съ одушевленіемъ и сіяющими глазами. — Стоила, да еще какъ стоила! Сколько мы нашли огня, жизни, сердца въ разобран-ныхъ наконецъ чертахъ, какъ мы наслаждались много-много разъ! Какъ мы сами себя благодарили за то, что рѣшились!“ — „Нѣтъ, не стоила, — вяло и скучливо возражаютъ другіе: — только одно мученіе. И отъ чего это происходитъ, что онъ такъ невыносимо писать? Видно учителя чистопи-



Шереръ, Набоковъ Моисей.

Н. Н. Те.

8

А

Передо мною нѣсколько читателей. Я обращаюсь къ нимъ и спрашиваю: „Видали вы когда-нибудь, господа, рукописи покойнаго нашего Гѣ?“ Одни отвѣчаютъ: „Нѣтъ, не видали“. Другіе: „Видѣли“. — „Ну, значитъ, — говорю я первымъ, — съ вами мнѣ нельзя и говорить про этотъ предметъ. Вы не видѣли, и сужденія никакого у васъ быть не можетъ. А вы, господа, тѣ, что видали рукописи Гѣ, позвольте мнѣ васъ спросить: что вы про нихъ скажете?“ — „Скажемъ то, — отвѣчаютъ они мнѣ, — что рукописи эти просто ужасъ! Такія неразборчивыя. Что называется, просто чортъ ногу сломить. Ничего не понимаешь. Надо большую привычку, надо огромное стараніе, чтобъ разобрать что-нибудь. А главное, надо, чтобъ былъ особенный какой-то большой интересъ у васъ, чтобъ не бояться никакихъ трудностей, чтобъ пожертвовать на это много времени, и глазами, и терпѣніемъ, чтобъ привыкнуть къ этимъ чертамъ и черточкамъ, къ этимъ каракулькамъ, усикамъ, разводамъ и хвостикамъ, къ этимъ недопискамъ и перепискамъ, къ этимъ безчисленнымъ зачеркнутымъ, опять взятымъ назадъ, опять перечеркнутымъ и опять восстановленнымъ строкамъ, изъ которыхъ состоитъ текстъ“. — „Ну, и что же, скажите: игра не стоила свѣчъ?“ — „Стоила, стоила, — отвѣчаютъ одни съ одушевленіемъ и сіяющими глазами. — Стоила, да еще какъ стоила! Сколько мы нашли огня, жизни, сердца въ разобранныхъ наконецъ чертахъ, какъ мы наслаждались много-много разъ! Какъ мы сами себя благодарили за то, что рѣшились!“ — „Нѣтъ, не стоила, — вяло и скучливо возражаютъ другіе: — только одно мученіе. И отъ чего это происходитъ, что онъ такъ невыносимо писалъ? Видно учителя чистопи-

А

санія были у него прескверные, или онъ самъ, Богъ его знаетъ отчего, былъ страшно небреженъ и халатенъ касательно собственнаго же своего дѣла. И могъ бы, да не старался. Мученье съ нимъ, да и только! Ничего мы не разобрали у него, да кажись и разбирать-то не стоить! Судя по кое-какимъ словамъ и строкамъ, что удалось понять въ этомъ мараньи, ничего важнаго тамъ у него на бумажкахъ нѣтъ. Одно—путаница, другое—нелѣпица, третье—капризная претензія, и больше ничего“...

И вотъ, выслушавши обѣ стороны, я говорю: „А знаете, что я скажу вамъ, господа, если только вы согласитесь выслушать меня. Знаете, что мнѣ кажется? Что рукописи Гѣ, что онъ самъ—это совершенно одно и то же. Весь Гѣ, отъ головы до ногъ, вся его натура, весь характеръ, вся его дѣятельность, вся его жизнь—это одна сплошная рукопись, писанная худою, спутанною каллиграфіей. На каждомъ шагу—неразборчивыя черты и неразборчивыя фразы, на каждомъ шагу—закорючки, усики и разводы, недописки и переписки, обманывающія и смущающія глазъ, заводящія въ какіе-то смутные коридоры, откуда, кажется, какъ будто бы уже и выхода нѣтъ. Но пусть глазъ вашъ попривыкнетъ и къ разводамъ, и къ усикамъ, и къ недопискамъ, и къ темнымъ коридорамъ, пусть у васъ только горитъ внутри жажда узнанія, свѣтлое желаніе разобрать и уразумѣть, и скоро каракульки и непонятныя черты передъ вами исчезнутъ, и вы поймете эту сложную натуру, полную совершенствъ, но и недочетовъ, блестящихъ качествъ, но и достойныхъ всякаго сожалѣнія несовершенствъ, всегда полную жара душевнаго, стремленія къ истинѣ и глубокимъ источникамъ жизни.“

Но, для того чтобы судить и понимать, надобно прежде всего знать факты. А фактовъ-то именно почти никто у насъ и не знаетъ, всего менѣе тѣ, которые о Гѣ всего болѣе говорятъ и пишутъ—презирающіе его или глумящіеся надъ нимъ: ихъ-то именно всего больше среди нынѣшней русской публики. Каково же это, не зная дѣла, да су-

дить о немъ? Это уже вовсе никуда не годится. Можно себя вообразить, чего надо ожидать отъ такихъ итоговъ, отъ такихъ рѣшеній, отъ такихъ разсказовъ и воспоминаній, гдѣ что ни слово, то выдумка, то незнаніе, гдѣ что ни размышленіе, то карикатурный провалъ. Одни изъ враговъ и непонимателей громко провозглашаютъ, что Гѣ „былъ заѣденъ средой“; другіе, что внѣшнія обстоятельства, эпоха, время, были для него самыя неблагопріятныя; третьи, что во всемъ томъ, что имъ не нравится въ Гѣ, виновата русская литература, одна русская литература, и никто больше; четвертые, что вредно художнику имѣть „идеи“, а надо быть безъ нихъ; пятые, что Гѣ умышленно не хотѣлъ учиться своему искусству и совершенствовать его, а нарочно оставлялъ его на степени эмбриона и недоноски; шестые съ милою усмѣшкою объявляютъ: „Гѣ! Да вѣдь это „геній не у дѣлъ“, да вѣдь онъ былъ просто чудакомъ какой-то, старичокъ, въ родѣ выжившаго изъ ума, подъ вліяніемъ непонятыхъ или непереваренныхъ имъ теорій; седьмые, что Гѣ любилъ только ораторствовать, себя самого слушать, а дѣла не дѣлать; восьмые, что, вообще говоря, „Гѣ былъ только неудачникъ“, хотя въ началѣ своей жизни и давалъ произведенія, достойныя стать наравнѣ съ самымъ высокимъ, что создано величайшими мастерами. И такъ далѣе, и такъ далѣе.

Какая во всемъ тутъ громадная гора легкомыслія, поверхностности, какая торопливая враждебность, какая неспособность понимать сущность и требованія искусства, какая близорукость при разборѣ человѣческой натуры!

Я не стану въ настоящую минуту перебирать и разсматривать каждый изъ этихъ, то печальныхъ, то карикатурныхъ обвиненій—ихъ сами собой опровергнуть тѣ факты, изъ которыхъ будутъ состоять настоящія мои страницы, но съ меня будетъ пока довольно того, чтобы указать на ту изумительную логику, которая присутствуетъ въ одномъ изъ приведенныхъ мною обвиненій—въ послѣднемъ.

„Гѣ всю жизнь былъ неудачникъ“. Какъ неудачникъ! Да